

но в “Записках...”, не слабее, чем в людях вольных, а сильнее и обостреннее. Во-первых, потому, что тюремный изгой уже по своему положению в данном стремлении ущемлен и ограничен (“Кстати: вот отчего, может быть, в арестантах (...) замечается всеобщая склонность к куражу, к хвастовству, к комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности”) [1, т. 4, с. 66]. А во-вторых, потому, что и сам преступник, как правило, натура с развитым и сознаваемым индивидуальным началом. Таково по крайней мере было убеждение Достоевского, не случайно дважды назвавшего изображенных им в “Записках...” каторжан “...самым даровитым, самым сильным народом из всего народа нашего” [1, т. 4, с. 231] – не за грамотность и мастеровитость их только, а в первую очередь за отсутствие в них нравственного рабства. Да ведь большинство из этих людей и попало в острог по той причине, что не снесло оскорбления своей личности.

Как известно, категория личности, а не тяжелые социальные (материальные) обстоятельства (“среда”) или врожденные пороки, стала центральной и в той концепции причин преступления, которая, будучи впервые развитой Достоевским именно в “Записках из Мертвого дома”, принципиально обогатила мировую криминалистику XIX в. “Удивляются, – говорит писатель, – иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет смирно (...) и вдруг решительно ни с того, ни с сего (...) зашалил (...), а иногда даже на уголовное преступление рискнул... (...) А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва (...) – это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя (...), вдруг проявляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так (...) заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уже не до рассудка: тут судороги” [1, т. 4, с. 66–67].

В связи с одним из персонажей “Записок...” – человеку “немолодом, но страстном, живучем, сильном, с необычайными и разнообразными способностями” – Достоевский заметил: “Таких людей должен был давить острог” [1, т. 4, с. 221, 222]. Сама неволя Омского каторжного дома уподобляла его – для личности! – гробу, что, в частности, подтверждается и настойчивым в произведении мотивом невыносимой духоты в тюремных казармах, госпитале (“духота была страшная”, “удушливый день”, “мефитический воздух”, “удушливый парной воздух”, и т.п.) [1, т. 4, с. 19, 22, 48, 116, 121]. Однако моральным гробом вполне этот дом делала система плац-майора, согласно которой “всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением” [1, т. 4, с. 67].

\*\*\*

Казалось бы, “списанный” с конкретного лица, плац-майор “Записок...” на деле – результат прежде всего художественного домысла и творческого обобщения. В типическую фигуру он превращается благодаря своему двойнику из каторжан – бывшему офицеру на Кавказе Акиму Акимычу: персонажу в картине Омского острога, в свою очередь, центральному и концептуальному.

Плац-майор зол и, по выражению арестантов, “бросается на людей” [1, т. 4, с. 14]. Аким Акимыч трудолюбив, мастер на все руки и по крайней мере к автору “Записок...” добр, даже услужлив. Между тем восприятие обоих у Достоевского одинаково: если сам острожный дом плац-майора казался ему “каким-то проклятым, отвратительным местом” [1, т. 4, с. 178], то и Аким Акимыч, не понравившийся писателю “с первого взгляда”, и потом вызывал у него почти ненависть [1, т. 4, с. 50, 209]. Почему же?

“Был он, – сказано об Акиме Акимыче в начале произведения, – (...) слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер” [1, т. 4, с. 26. Курсив наш. – В.Н.]

Походить, в глазах заключенных, на немца означало вызывать у них, действительно, далеко не одно комическое чувство: с немцами в России издавна сопрягалось представление и о том сугубо “административном, форменном” отношении к человеку (“порядке”), которое всегда и вполне основательно вызывало недоверие и протест русского простонародья [1, т. 4, с. 142]. Ведь реальная действительность, подмененная ее обездушенной формулой, есть, согласно Достоевскому, “...уже не жизнь (...), а начало смерти” [1, т. 5, с. 118–119].

Бывший поручик Аким Акимыч, однако, и был воплощением формализма, при этом не из каких-то служебных обязанностей, а от природы. Ему нравится, что в Омском остроге, в отличие от других каторжных пенитенциариев, заключенные пребывают “...в мундирном виде и бритые: все-таки порядку больше, да и глазу приятнее-с” [1, т. 4, с. 28]. Не по трусости, а как “естественный враг всех подобных претензий” [1, т. 4, с. 209] он не поддерживает коллективное возмущение каторжан дурной пищей (глава “Претензия” во второй части “Записок...”). А вот как Аким Акимыч готовится встретить Рождественский праздник: “Еще с вечера он достал свою новую пару (острожные куртку и штаны. – В.Н.), разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив все это, предварительно примерил ее. Оказалось, что пара была совершенно впору; все было прилично, плотно застегивалось доверху...; в талье образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата,